

В. мысль 9.7 сент.

ПОЛИТИКА

Дмитрий ФУРМАН

«СЛУЧАЙ РОССИИ»

РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

КНИГА Х. ЛИНЦА И А. СТЕПАНА* анализирует процессы перехода к демократии (более или менее полной и прочной), совершавшиеся в 1970—1990-х в Южной Европе (Испания, Португалия, Греция), Латинской Америке (авторы специально рассматривают Уругвай, Бразилию, Аргентину и Чили) и в посткоммунистическом мире, в том числе в России. Авторы затрагивают множество тем и вопросов, и подробный разбор книги занял бы едва ли не столько же места, сколько занимает она сама. Я ограничусь лишь некоторыми методологическими проблемами и рассмотрением мыслей авторов о российской демократизации.

Любой переход — это движение от некоей точки А к точке Б. Точка А — «недемократия». Форм современных «недемократий» очень много, и авторы пытаются их типологизировать. «Самая недемократическая» форма, в которой нет ни одного элемента, составляющего демократическое общество, это, естественно, «тоталитаризм», прямой переход от которого к демократии, если исключить случай военного разгрома и оккупации, как полагают авторы, практически невозможен. Переход этот осуществляется через промежуточные формы смягченного и «уставшего» тоталитаризма (авторы именуют его «посттоталитаризмом»), с идеологией, превратившейся в пустые слова, утратившего юношескую веру в себя и жестокость. Между Сталиным и демократией должны быть Хрущевы и Брежневы, между Мао и демократией — Ден и его теперешние преемники. (Очевидно, если следовать логике авторов, следует ввести и понятие «раннего тоталитаризма» или «предтоталитаризма» для режимов вроде советского режима начала 20-х.) В особую форму недемократического правления авторы выделяют «султанизм», где диктатор, в отличие от тоталитаризма, не скован идеологией и партией. Это — чистая тирания личности, базирующаяся на терроре, с тенденцией к «квазимонархизму». Из коммунистических режимов Европы к этому типу, как полагают авторы, наиболее близок был режим Чаушеку; в «третьем мире» таких «султанистских» режимов очень много. Более «мягкой», чем тоталитаризм и даже чем «посттоталитаризм», формой недемократического режима является «авторитаризм», при котором есть свободная экономика, гражданское и даже отчасти политическое общество. Авторитарные режимы могут быть очень разными — власть армии, взявшей на себя функции государственной власти, как в странах Латинской Америки; власть группы военных (но не армии как иерархической организации) — режим «черных полковников» в Греции; прошедший либеральную эволюцию режим, вначале имевший черты и диктатуры армии, и тоталитаризма, как режим Франко, и т. д. В коммунистическом мире наиболее близок к этому типу был режим позднекоммунистической Польши, особенно периода Ярузельского. Конечно, эта типология очень условна; многие конкретные недемократические режимы не могут быть однозначно отнесены к тому или иному типу, их характеристики, даже самые важные, харак-

ФУРМАН Дмитрий Ефимович — главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор исторических наук.

* J. J. Linz, A. Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. «The John Hopkins University Press» (USA), 1996, 479 pp.

Х. Линц, А. Степан. Проблемы перехода к демократии и ее укрепления. Южная Европа. Южная Америка и посткоммунистическая Европа.

теристиками типа не исчерпываются. Так, например, к «султанистскому» типу авторы относят столь разные режимы, как режим Чаушеску и шахский режим в Иране; существуют громадные различия между режимами — одинаково определяемыми как «тоталитарные» — Сталина, Гитлера, Муссолини и, тем более, довоенной Японии; есть совершенно не укладывающийся в эту типологию режим современного Ирана и т. д.

Точка Б — это стабильная, «консолидированная» (по выражению авторов) демократия — общество, где все значимые политические силы принимают единые демократические правила игры. Показатель этого — возможность выборной, демократической смены власти, не влекущей за собой изменение режима (подобная смена уже имела место почти во всех посткоммунистических европейских странах, но не в России). Такое общество предполагает наличие ряда необходимых составляющих, условий его существования. Прежде всего это должно быть государство, которое «признается» своими гражданами, воспринимается ими как «свое» государство, что очень естественно в мононациональных государствах, но всегда в той или иной мере проблематично в государствах многонациональных, как СССР, Россия, Испания, Чехословакия, Югославия. Это должно быть государство с полным господством демократического правопорядка, эффективным государственным аппаратом, свободным и развитым «политическим обществом» — системой партий и политических организаций, развитым гражданским обществом и свободной, регулируемой правом экономикой (авторы особо подчеркивают, что отнюдь не имеют в виду полного господства рынка и частной собственности, не только не являющегося условием демократии, но и просто невозможного — см. стр. 12).

Есть точка А, есть точка Б, есть движение от А к Б. Для его описания авторы все время прибегают к излюбленной ими метафоре «делания», «конструирования» (crafting), говорят о «делателях», «конструкторах» (crafters; слово «craft» по значению близко к «ремеслу», «искусству ремесленника»), политических «инженерах», решающих в ходе строительства демократии определенные технические задачи — или же оказывающихся неспособными их решить.

Эти задачи определяются прежде всего характером «исходного материала» — общества, подвергающегося демократической реконструкции. Задачи перехода к демократии от авторитарных систем относительно просты и сводятся в основном к задачам конституционно-политического строительства. Переход к демократии от тоталитарной-посттоталитарной и «султанистской» систем более сложен, он требует тотальной перестройки общества.

Характер предшествующего режима в значительной мере определяет и формы перехода. В авторитарных режимах, где у власти не стоит армия (как это было в Испании, где франкистский режим постепенно приобрел «штатский» характер), и в близких к ним посттоталитарных режимах, прошедших через значительную либерализацию (Польша, Венгрия), возможен наилучший, наиболее сознательный и планомерный путь перехода к «консолидированной демократии», обозначаемый авторами испанским термином «reforma pactada — girtuda pactada», который можно перевести как «реформа и разрыв с прошлым договорным путем». Либеральная часть верхушки правящего режима, изолируя ее «ортодоксальную» часть, вступает в переговоры и заключает соглашение с оппозицией (разумеется, для этого необходимо, чтобы оппозиция уже существовала хотя бы в относительно легальной и организованной форме), в которой также происходит изоляция «экстремистов». Классическим примером, конечно, является Испания, где Адольфо Суарес и король Хуан Карлос пошли на переговоры с демократами и коммунистами. Очевидно, при выборе такого пути большую роль играет субъективный фактор — наличие (возможно, случайное) лидеров, к нему готовых.

При всем громадном сходстве авторитарных режимов Испании и Португалии, в Португалии таких лидеров не оказалось, и переход к демократии принял куда более стихийную, революционную и болезненную форму — к власти пришла группа революционно настроенных офицеров, которым, при всем их декларированном демократизме, затем очень не захотелось уходить, и их пришлось долго «выдавливать» — и давлением политических партий и общества, и давлением военной верхушки. В Греции такое же двустороннее давление — военной иерархии, стремящейся к нормальному порядку в армии, при котором полковник должен слушаться генерала, а не наоборот, и общества — привело к переходу к демократии от режима «черных полковников» (идеологически греческий и переходный португальский посткаэтановский режимы были очень разными, но в обоих случаях у власти стояла группа военных, а не армия как иерархически организованный институт). Если же у власти стоит армия, как это было в странах Латинской Америки, ситуация возникает иная. Здесь сам по себе переход может быть относительно легко, но очень затруднена «консолидация» демократии. Армия «уходит в казармы», но при этом она чаще всего сохраняется как автономная, неподконтрольная демократическому государству сила и как относительно легко уходит, так относительно легко может и снова «выйти из казарм». (Почему-то авторы, описывая этот процесс в частных случаях переходов 70—80-х, не указывают на специфически «циклический» характер политической жизни, порождаемый такими «уходами» и «приходами» армии не только в Латинской Америке, но и во многих странах Азии и Африки — Турции, Пакистане, Нигерии и т. д.) Как мы уже говорили, «смягченный», либерализовавшийся «посттоталитаризм» может пойти по «испанскому» пути. Но новейшая история знает еще один путь крушения «замороженных», по выражению авторов, посттоталитарных режимов типа чехословацкого и гдэзэровского — «коллапс», когда все настолько прогнило изнутри, что без какого-либо сопротивления колоссальная машина тотального контроля и подавления полностью распадается от ничтожного вроде бы толчка.

Про построенную Линцем и Степаном типологию форм перехода к демократии, на наш взгляд, можно сказать то же, что и про их типологию недемократических режимов — она очень полезна, ибо позволяет искать и находить общие закономерности, но немного «опасна», поскольку может породить иллюзию, что отнесение к типу объясняет больше, чем объясняет на самом деле, что самое главное — это отнести к типу. Как не все недемократические режимы легко вписываются в типы, так не вписываются и все переходы. Например, румынские события — свержение Чаушеску — представляют собой причудливую комбинацию стихийного восстания и заговора «изнутри» режима, которую ни к какому типу не отнесешь. Переход к демократии в СССР — тоже слишком своеобразный процесс, чтобы его можно было отнести к какому-либо типу. Здесь — и элементы «*reforma pactada*», но своеобразной (партнер по переговорам создавался в ходе самой реформы) и неудавшейся; здесь и элементы «коллапса», и даже легкий намек на народное восстание («оборона» «Белого дома»).

Хотя формы перехода в значительной мере определяются характером предшествующего режима, авторы все время подчеркивают, что очень многое не детерминировано этими «исходными данными», что переход осуществляется через серию конкретных решений политиков, которые могут быть правильными и могут быть ошибочными. «Институты — значат» (стр. 400), и в ходе перехода к демократии политики могут создавать институты «удачные», облегчающие этот переход и демократическую консолидацию, и «неудачные». Для нас, естественно, особенно интересно, в чем авторы видят «ошибки», «неудачные ходы» и неверно определенные приоритеты российских политиков, что, по их мнению, можно и нужно было сделать в России, чтобы прийти к «консолидированной» демократии.

СССР И РОССИИ в книге Линца и Степана посвящена только одна из 21 глав, но есть и разбросанные в других главах замечания о России, и мысли, непосредственно не связываемые авторами с нашей страной, но имеющие несомненное значение для анализа российского пути. Не со всем, что пишут авторы о России, я согласен, но не хочу вступать в полемику по частным вопросам, тем более что в самом, с моей точки зрения, важном я с ними согласен полностью. Это «самое важное» я и хочу «извлечь» из рецензируемой книги.

Один из разделов главы об СССР и России называется «Приоритет экономического реформирования над построением демократического государства (случай России)» (стр. 390). Здесь назван центральный, с точки зрения авторов, порок российской демократии, который они видят в господствующей в умах наших главных политических деятелей, и прежде всего Ельцина, ложной системе приоритетов, определяющей неверную последовательность, а в конечном счете и направленность их действий. Эта ложная система заключается в том, что самым важным в демократическом развитии представляется формирование частной собственности и рынка, которые мыслятся как бы «базисом» демократии. (Здесь мысли Линца и Степана полностью совпадают с мыслями рецензента их книги, высказанными им в статье «Перевернутый истмат» («Свободная мысль», 1995, № 3), которую они, естественно, не читали, как и рецензент, ко времени ее написания, не читал их работ.) По мнению авторов, подобная система приоритетов ставит все «с ног на голову» и не позволяет возникнуть ни консолидированной демократии, ни рынку. Даже если мы полностью абстрагируемся от ценностных аспектов (что ценнее — свобода и демократический правопорядок или рынок и экономическая эффективность), полностью согласимся, что рынок неизбежно ведет к экономическому подъему и народному богатству, и признаем, что именно рынок есть наша главная и высшая цель — и тогда мысли и действия реформаторов должны были быть направлены прежде всего на создание предварительных внеэкономических условий рынка, которым и по степени важности, и «по хронологии» принимаемых решений должен быть отдан приоритет. Каковы же эти необходимые условия, предваряющие создание «нормального» и эффективного рынка? Какие проблемы, по мысли авторов книги, следовало решать в первую очередь, в то время как у нас они оказались «задвинутыми на потом» и вообще нерешенными?

1. «Определенность» государства.

Для проведения эффективной приватизации и создания рынка необходимы такие минимальные условия, как ясность, в каком государстве совершаются все эти действия и процессы, и уверенность, что это государство будет существовать, ибо граждане безоговорочно признают его своим государством. Если этого нет, если государство при «первом дуновении демократизации» может распасться, как Югославия или СССР, или исчезнуть, как ГДР, любые рыночные и политические реформы могут быть в любой момент перечеркнуты, как это произошло с довольно успешно начатыми реформами премьера Анте Марковича в Югославии (1990 год), оказавшимися внутренней отделкой здания, под которым разваливался фундамент (стр. 385). Любое многонациональное государство, как и государство, охватывающее лишь часть народа, ощущающего себя единым целым (ГДР), имеет подобные проблемы, и именно они при переходе к демократическим и рыночным реформам должны быть решены прежде всего. Иными словами, в первую очередь надо решить судьбу самого государства. Как решить — консолидировать ли многонациональное государство, как это произошло в Испании, где демократия и предоставление прав автономиям умили баскский и каталонский национализм, «самораспуститься» ли, как это произошло в Чехословакии, или же «самоликвидиро-

ваться», как ГДР, строго говоря — не самое важное. Но как-то «определиться» необходимо, и эта задача — самая приоритетная.

В СССР проблема «государственной определенности» стояла, естественно, особенно остро — и в силу пестрого многонационального характера общества, и в силу особенностей советского федерализма.

Линц и Степан очень интересно говорят о специфическом формальном федерализме конституций многонациональных тоталитарных государств, которые никогда не действовали и не для этого писались, но стали превращаться в «мины-ловушки», когда их попытались в ходе демократизации наполнить реальным содержанием. Так было и в Югославии (специально югославский опыт авторы не анализируют), и в Чехословакии. Унаследованная от коммунистического прошлого чехословацкая конституция давала возможность даже меньшинству и чешской, и словацкой палат парламента блокировать любые важные социально-экономические решения. И так как более радикальный клаусовский вариант реформ, поддерживаемый чехами, противоречил более мягкому словацкому, а меньшинства и чешских, и словацких депутатов, фактически обладавшие правом вето, ни на какие компромиссы не шли, то, чтобы проводить какую-то последовательную политику, пришлось разделиться.

Советский формальный федерализм оказался значительно «конфликтотеннее» чехословацкого, он был как бы специально создан для того, чтобы превратить демократические и рыночные реформы в безумную борьбу всех против всех. Здесь были и признание права республик на отделение (разумеется, без определения механизма реализации этого права: создателям конституции и в голову не могло прийти, что им вознамерятся воспользоваться), и сложнейшая и несправедливая иерархия статусов «титულных» наций, и национальные республики с титульными нациями, представляющими небольшое меньшинство населения, и система записи в паспорте национальности (причем передающейся от родителей, как бы по крови) и т. д. Рыночные реформы и демократизация в таком государстве просто не могли не превратиться в борьбу за независимость, передел границ и государственной собственности. До всякого выяснения механизмов приватизации и перехода к рынку надо было определить, будет ли вообще существовать это государство; если да, то в каких размерах и в какой форме будет оно существовать, и кто в нем имеет право проводить приватизацию.

Между тем, как отмечают авторы, в знаменитой книге Горбачева «Перестройка: новое мышление для нашей страны и для всего мира», где излагались его философия и программа реформ, говорится о самых разных проблемах, но не о важнейшей проблеме советского национального федерализма, которая в то время (1987 год) им, очевидно, просто не осознавалась. И то, что Горбачев и его соратники оказались не готовы к взрыву национальных страстей и угрозе распада государства, также в значительной мере было связано с их верой во всемогущество экономических реформ, которые поднимут благосостояние и решат все проблемы. Как мне представляется, самому Горбачеву не была свойственна слепая вера в рынок, но среди «широкой реформаторской общественности», многочисленных «прорабов перестройки» идея, что рынок все решит и всех сплотит, приобрела характер догмы; даже в период неконтролируемого распада государства споры шли прежде всего вокруг разных «планов Явлинского» и «планов Абалкина», которые все были планами преобразований в стране, которая на глазах переставала существовать.

Неверное определение приоритетов, представление о том, что можно решить проблему экономического реформирования, не решив основного вопроса, в каком государстве ты это совершаешь и будет ли существовать это государство, привело, по мнению авторов, к неверному и разрушительному для государства определению Горбачевым последовательности проведения выборов.

Выборы — путь легитимизации государства. Если меньшинства, даже имеющие сепаратистские поползновения, идут на выборы общегосударственных органов, заинтересованы в них, то тем самым они признают легитимность государства, признают, что это их государство. И естественно, если общество принимает идею демократии и выборов как инструмента легитимизации, то чем демократичнее выборы, тем легитимнее создаваемый ими орган. Между тем первые общесоюзные выборы народных депутатов в 1989 году проходили по «полудемократической» процедуре, а первыми реально демократическими выборами стали последовавшие за ними в 1990 году выборы Верховных Советов республик и народных депутатов РСФСР. Равным образом, выборы президента СССР также были менее демократичны, чем выборы президентов республик. В результате республиканские органы в противостоянии с центром получили преимущество большей легитимности, а большая представленность «демократов» в республиканских органах (и из-за большей демократичности выборов и из-за большей продвинутости, ко времени республиканских выборов, революционного процесса) подталкивала «демократические» силы к борьбе с центром и сепаратизму.

Неконтролируемый, хаотичный распад СССР, как полагают авторы, нанес мощный удар по перспективам создания демократического общества (в том числе и «рыночного аспекта» этого общества). Но вместе с тем в какой-то мере, не лучшим из возможных способов, он облегчил решение проблемы «государственной определенности». Россия вышла из него более национально-однородным и более устойчивым государством, чем СССР.

Но проблема отнюдь не решена окончательно. Процедура ликвидации союзного государства была такой, что значительная часть российского общества (и других «постсоветских» обществ) продолжает считать распад СССР не легитимным и не окончательным, все еще мечтает о возвращении прошлого и воспринимает государство, в котором живет, как нечто «временное» и «случайное». Границы России проведены на бумаге, но еще не в сознании людей, и потенциальные конфликты есть у России практически со всеми сопредельными государствами. В состав России входят «суверенные» республики, категорически отказывающиеся от слова «автономия», имеющие конституции, противоречащие общероссийской, чуть ли не собственные вооруженные силы (как в Осетии), проводящие свою внешнюю политику и даже ведшие свои войны (осетино-ингушская). Есть Чечня с ее «отложенным статусом». Есть «границы СНГ», охраняемые Россией. Чуть ли не за день до подписания договора с Белоруссией было неясно, не провозгласит ли он новое федеративное или конфедеративное государство. И, наконец, все отчетливее становится угроза уже не национального, а русского и территориального сепаратизма, или «полусепаратизма», всякого рода Дальневосточных, Приморских и Уральских республик.

Но самое главное — опыт распада СССР ничему нас не научил. Мы продолжаем работать внутри здания, под которым нет прочного фундамента, и более того — мы по возможности стараемся не замечать в фундаменте трещин, чтобы не расстраиваться.

2. Эффективный государственный аппарат.

«Определенность» государства и его границ — необходимое условие успешных рыночных реформ. Но есть и другое, по мнению авторов, не менее важное условие, также лежащее вне собственно экономической сферы. Можно изобретать какие угодно планы приватизации и рыночных преобразований, но ничего не получится, если те, кто их исполняет, думают не о преобразованиях, а о том, как бы что-нибудь уворовать. (Нечто подобное было в Бразилии с ее очень коррумпированным госаппаратом при проводившем приватизацию и «плохо кончившем», подвергнутом импичменту президенте Колоре — см. стр. 177, 185.)

В руках тех, кто принимает план, должен быть «работающий» инструмент — эффективный, честный и законопослушный аппарат. Государство должно быть «сильным», пишут Линц и Степан, вкладывая в это слово совсем иной смысл, чем тот, который обычно вкладывается у нас: не авторитарную власть и «полномочия» президента, не бесконтрольность и вездесущность государственного аппарата имеют они в виду, а то, что принятые в установленном порядке законы и распоряжения органов власти обязательно должны выполняться, что государство должно обладать «монополией силы» и способностью заставить себя слушаться. В этом отношении российское государство с его вроде бы предельно сильной президентской властью — государство очень слабое, и никакое дальнейшее расширение полномочий президента не даст ничего. В этом государстве президент может позволить себе игнорировать парламент, но здесь невозможно собрать налоги и вовремя платить зарплату. Авторы, как и рецензент, не верят в возможность русского фашизма, но если предположить, что у нас может победить фашизм, то, как пишут Линц и Степан, это будет фашизм слабый и жалкий.

Модель Пиночета, по мнению авторов, к России совершенно неприменима (см. стр. 437), ибо Пиночет имел в своих руках хорошие инструменты, хорошо работающий эффективный аппарат. В книге есть ряд очень интересных сведений о пиночетовском режиме. Естественно, этот режим был авторитарным и неправовым. Но этот авторитаризм в политической сфере сочетался со значительной законностью в сфере повседневной жизни, с честностью полиции, чиновничества, суда. 76 процентов опрошенных чилийцев и 72 процента тех из них, кто называет себя «левыми», уверены в честности полиции и не боятся ее (см. стр. 177). Сама армия, осуществлявшая власть, была дисциплинированной, генералы ее не были ворами. Различия в чилийском и российском правосознании видны в таком простом и общеизвестном факте: в 1988 году Пиночет провел референдум, получил 44 процента голосов и ушел. Это был диктатор, опиравшийся на преданную армию и пользовавшийся значительной поддержкой населения. Тем не менее немножко подтасовать результаты референдума (всего-то 6 процентов голосов) ему как-то в голову не пришло.

Новая Россия унаследовала плохой, неэффективный и коррумпированный аппарат поздне тоталитарной системы. Осуществлять через него рыночные реформы было практически невозможно. Важнейшей задачей должна была быть борьба с его неэффективностью и коррумпированностью (продолжение в новых условиях и формах того, что пытался осуществить Андропов).

Между тем об этом у нас совершенно не думали. О «порядке», понимаемом как авторитарная власть, думали; о Пиночете даже мечтали; за «полномочия» Ельцин боролся; российский парламент он разогнал; но то, что власть закона и честный государственный аппарат — необходимое условие строительства рынка, без которого приватизация неизбежно превращается в разграбление государственной собственности, — кажется, и в голову не приходило. Более того, у нас до сих пор пользуется популярностью мысль, что коррупция — это хорошо, ибо это приватизация и превращение чиновника в собственника. Для эффективного рынка, многократно повторяют авторы, нужно сильное государство. Но наша устремленность к рынку любой ценой и как можно скорее, пишут Линц и Степан, «ослабила уже и без того слабое государство» (стр. 367), то есть подорвала основу основ эффективного рынка.

3. Конституция.

Вопрос, кто имеет право осуществлять рыночные преобразования, еще не решается с достижением «государственной определенности». В конце 1991 года в России «определенность» была более или менее (хотя далеко не окончательно) достигнута — стало ясно, что СССР уже нет, а Россия —

есть, и большинство населения признает ее своим государством. Но кто в России имеет право проводить рыночные реформы?

В старом формальном и фиктивном конституционном строе было заложено множество «мин-ловушек». Как в строе СССР был заложен конфликт центра и республик, так в подлатанной в 1990—1991 годах старой фиктивной российской конституции был заложен конфликт президента и парламента. И этот конфликт еще больше усугублялся русской и советской традициями. «Всенародно избранный» президент — это наследник традиционно русской самодержавной и генсековской власти. А народные депутаты — наследники и носители мощной идеи «Вся власть Советам», активно использовавшейся «демократами» в 1989—1990 годах. После распада СССР принятие новой российской конституции и проведение новых выборов президента и парламента — поскольку действовавшие на тот момент были избраны все-таки в другом государстве и не в качестве президента и парламента независимой России — должны были стать самой первоочередной задачей. До того, как решать, какие рыночные реформы будут проводиться, надо было определить, кто имеет право их проводить. И Ельцин в 1991-м — начале 1992 года, как пишут авторы, имел полную возможность принять новую конституцию и провести новые выборы. Но мы «пошли другим путем». Линц и Степан разбирают речь Ельцина перед народными депутатами в октябре 1991 года (см. стр. 391). Эта речь мыслилась как «историческая», намечающая новые пути, по которым пойдет свободная Россия. И практически единственное, о чем в ней говорится, — это о рынке. Вместо того чтобы легитимизировать и упрочить власть демократическим путем, выработав конституционный порядок и проведя выборы, Ельцин стал добиваться все новых полномочий и проводить, при сопротивлении народных депутатов, реформы неведь откуда взявшегося, никем не избранного Гайдара. Опять все та же «перевернутая» последовательность действий и иерархия приоритетов: приватизация и рынок — на первом месте, а то, что является их базой, их необходимыми условиями, откладывается «на потом».

Что было потом — мы знаем, говорить об этом излишне. Мы прошли через кошмар октября 1993 года, через принятие на сомнительном референдуме сомнительной конституции, подстроенной под конкретное лицо и конкретную ситуацию, делающей президентскую власть фактически авторитарной, но — одновременно — делающей неизбежными и новые конфликты ветвей власти и центра с «субъектами федерации». И нет никакой гарантии, что эта конституция переживет своего создателя.

Линц и Степан все время говорят о приоритетах и последовательности действий. Дело не в том, какими должны быть масштабы, формы и сроки приватизации, дело в том, чтобы ее осуществляла действительно законная власть, имеющая ясные полномочия и действующая через эффективный, послушный закону аппарат. И дело не в том, какой должна быть конституция, дело в том, чтобы это была конституция, принятая законным и демократическим путем, чтобы ее принятие было первоочередной задачей и предшествовало приватизации.

Тем не менее у авторов книги есть свои «конституционные предпочтения». Они полагают, что для общества, переходящего к демократии, лучше подходит не президентская система, чреватая конфликтами президента и парламента, а парламентская, более «чутко реагирующая» на настроение общества и способствующая созданию партий и «политического общества». И это предпочтение обосновывается эмпирически. Из 41 страны мира, где с 1981-го по 1991 год без перерыва функционировали демократические системы, 30 были парламентскими государствами и только 4 — президентскими республиками. Из 93 стран, получивших независимость в период с 1945-го по 1979 год, в 1980—1989 годах без перерыва демократиями были 15 стран, и

все они — парламентские республики (см. стр. 141). Опыт стран Южной Европы, успешно осуществивших переход к демократии, подтверждает правило: Испания и Греция — парламентские государства, а Португалия — почти парламентское. И самые успешные среди посткоммунистических стран — Чехия и Венгрия — также являются парламентскими республиками. Так что наши коммунисты в своей критике президентской власти вполне могут опираться на данные американских «буржуазных» исследователей.

4. Партии и общественная поддержка реформ.

В 1991 году Ельцин мог провести новые выборы и принять новую конституцию, но не сделал этого. Он мог также создать и возглавить партию, которая в тех условиях скорее всего победила бы на этих выборах. Зародыш такой партии уже существовал в лице безоговорочно поддерживавшей Ельцина и мечтавшей, чтобы он ее возглавил, «Демократической России». Но и этого он не сделал. Почему?

Очевидно, Ельцин понимал, что партия в какой-то мере сковала бы его, не дала бы сыграть роль «отца народа». Ситуация, когда реформы проводятся людьми, избранными самим президентом, вдруг им приближенными, для него выгодна, ибо на этих «фаворитов» обращается гнев противников реформ, задачей которых становится борьба с «фаворитом», удаление его от «трона», выходящего таким образом «из-под удара». Но эта ситуация отнюдь не способствует легитимности и эффективности проводимой этими «фаворитами» приватизации.

Отказ Ельцина от создания партии, по Линцу и Степану, — еще одна «ошибка». Если бы рыночные реформы осуществляла победившая партия, их легитимность была бы очевидной. Было бы ясно, кто «свой», кто — «чужой», кто — за, кто — против данных реформ; партия объединила бы сторонников реформ в разных органах государства, что сделало бы политику более эффективной.

Однако победа «рыночной» партии еще не гарантировала бы стабильность созданных ею рыночных институтов. Ведь через некоторое время должны пройти новые выборы, к власти может прийти «антирыночная» оппозиция, и все может рухнуть. Поэтому, наряду с обеспечением партийной поддержки своим реформам, победы своей партии, политик, стремящийся к действительно прочным результатам, должен подумать о своих противниках. Он должен обеспечить с их стороны поддержку хотя бы минимума своих действий, чтобы в случае их победы построенное им здание не рухнуло. В Испании Суарес и король Хуан Карлос очень не любили социалистов и коммунистов, но вступили с ними в соглашение, и когда на выборах победили социалисты, конституционный строй не рухнул, а укрепился. У нас же, хочется сказать — естественно, все наоборот.

Наш секретарь обкома КПСС развил антикоммунистическую истерию, которую не позволяя себе сидевшие при коммунистах Гавел и Валенса. Прошлое подвергается тотальному «демократическому» осмеиванию и оплевыванию. Но прошлое, 70 лет нашей истории — это время, которое большинство людей, живших в нем, работавших, любивших, рожавших детей, не могут признать тотально плохим, тем более сравнивая свою жизнь в этом прошлом с теперешней. Но, как полагают Линц и Степан, для строительства демократии и рынка это и не нужно.

Степень поддержки рыночных и демократических преобразований отнюдь не прямо пропорциональна степени отвержения не рыночного и не демократического прошлого. В Испании и Чили отношение к Франко и Пиночету, к их времени отнюдь не однозначно плохое, большинство людей считает, что в то время было «и плохое, и хорошее». И это вполне сочетается со значительной степенью поддержки современной демократии (см. стр. 214). Ничего удивительного в этом нет. То, что человек может даже с неко-

торой ностальгией вспоминать бесчинства юности, еще не значит, что он готов предаваться им в зрелом возрасте. И то, что французы гордятся Наполеоном, а русские — Петром I, не означает, что они хотят возвращения наполеоновских и петровских порядков. Прошлое оценивается по иным критериям, чем настоящее и будущее. И хотя авторы непосредственно этого не говорят, из всей их логики вытекает, что уважение, скажем, к Ленину (я не решаюсь сказать — к Сталину) так же совместимо с демократизмом и принятием рыночных реформ, как уживается с принятием демократии уважение к Франко, «кровавому фашистскому палачу». И наоборот, яростный антикоммунизм вполне может уживаться с авторитарными и недемократическими тенденциями, отчетливо просматривающимися в деятельности ряда посткоммунистических «демократических» государственных руководителей, таких как Валенса и Гамсахурдия. Резкий символический разрыв с прошлым чреват тем, что символика, форма могут легко подменить содержание, сущность, и тогда старая сущность легко и незаметно вернется.

Но, конечно, более важно, чем отношение к прошлому, отношение к тем, кто олицетворяет это прошлое в настоящем. Линц и Степан однозначно оценивают возвращение к власти восточноевропейских партий — преемниц правящих партий тоталитарной эпохи — как победу, а не поражение демократии и рынка, как их окончательное закрепление (см. стр. 454). (Также победой демократии, а не «возвращением франкизма», по их мнению, был бы в Испании приход к власти Народной партии — принявшей новые «правила игры» наследницы франкистской правой — см. стр. 456.) Только с победой этих, осуществляемых в демократических рамках и эти рамки не разрушающих, «реакций» становится очевидно, что демократические правила игры обязательны для всех, что они на самом деле действуют. Только с этими «реакциями», меняющими политический курс, но сохраняющими основные демократические и рыночные достижения, эти достижения окончательно закрепляются.

Линц и Степан не разбирают итогов наших выборов 1996 года, но вся их логика приводит к однозначному выводу — победа КПРФ была бы не поражением демократии и рынка, а скорее закреплением и упрочением реальных демократических и рыночных завоеваний. Безусловно, КПРФ — партия, значительно меньше усвоившая демократические и рыночные принципы, чем партии Квасьяневского и Бразаускаса. Но и наша антикоммунистическая партия власти тоже усвоила их хуже своих литовских и польских эквивалентов. Ротация власти в 1996 году приблизила бы к реальному принятию демократических норм все наше общество — и КПРФ, и теперешнюю «партию власти», которая превратилась бы в оппозицию. Но вся наша политическая система, весь наш народный менталитет, весь антикоммунизм «демократической» интеллигенции, предпочитающей что угодно — кровавый переворот, стрельбу по парламенту, нечестные выборы — приходу к власти политических противников, привели к тому, что этот нормальный для всех других посткоммунистических стран вариант развития для нас оказался исключен.

В результате в России сложилась партийная система, являющаяся постоянной угрозой рыночным отношениям. Если оппозиция знает, что демократическим путем к власти ей никогда не прийти, если условием диалога с ней считается ее отказ от сакральных символов (представим себе, что получилось бы в Испании, если бы король и Суарес требовали от коммунистов осудить Ленина, а коммунисты от короля — «покаяться в кровавых преступлениях франкистского режима»), если рыночные реформы совершаются «мальчиками-фаворитами» без учета мнения оппозиции — эта оппозиция не может быть «ответственной». Перспектива ее прихода к власти означает нечто близкое к социально-политическому перевороту и обязательно включает в себя «пересмотр результатов приватизации» (а эти результаты таковы, что никакая следующая власть уж совсем не пересмотреть их не сможет). Именно поэтому власть не гнушается ничем, чтобы с помощью «демократи-

ческого общества» не допустить оппозицию к власти. Но ясно, что когда-нибудь это, в той или иной форме, произойдет. Между тем даже самая отдаленная перспектива этого делает наш рынок нестабильным. Наши богачи ощущают, что их положение — не легитимно и не стабильно, что над ними висит дамоклов меч, который рано или поздно упадет. И это побуждает вывозить капиталы за границу, мешает делать неспекулятивные и долгосрочные инвестиции, делает наше жулье еще большим жульем. Безответственность власти и безответственность оппозиции взаимно порождают друг друга и вместе разрушают возможность формирования «нормального» рынка.

Общий вывод авторов звучит так: «Предпочтение Ельциным экономических реформ демократической перестройке государства ослабило государство, ослабило демократию и ослабило экономику» (стр. 392). Печален комизм сложившейся ситуации: в других странах больше думали о свободе и правопорядке и построили эффективно работающий рынок, который уже начал приносить плоды, а мы, думая только о рынке и о том, какими богатыми благодаря ему станем, создали рынок мафиозный, нелегитимный и непечальный, не только не разбогатели, но вконец обнищали.

Я СОВЕРШЕННО СОГЛАСЕН с американскими политологами в отношении критики нашего политического процесса, наших неверных приоритетов и решений. Но возникает вопрос: чьи это «ошибки», да и «ошибки» ли это?

Авторы все время используют модель-метафору «конструирования», «делания» демократии некими «делателями», что подразумевает другую модель-метафору — «ошибок», неверных приоритетов, неправильно выбранной последовательности действий (строитель, не укрепив фундамент, принимается делать крышу). Но мне кажется, что, хотя эта модель-метафора имеет право на существование и позволяет понять и увидеть многое, до сих пор не понятное и не увиденное, она все же ограничена, и Линц и Степан ею несколько злоупотребляют. Мне кажется, что над авторами в какой-то мере тяготеет пример Испании, изучению перехода которой к демократии Х. Линц посвятил много исследований. В Испании король Хуан Карлос и Суарес действительно «выстраивали» демократию, были «политическими инженерами». Элемент сознательности в этом случае был очень велик, хотя и здесь, разумеется, наряду с «конструированием» было и стихийное движение множества разных людей, стремящихся к разным целям, из которого демократия сложилась «сама собой». При этом Испания — случай почти исключительный. В большинстве анализируемых в книге переходов очень трудно определить тех «инженеров», которые конструируют демократию. Кто, например, такой строитель у нас?

Мне думается, что единственным человеком, которого в нашей стране можно назвать «строителем» демократии по типу более удачливых испанских строителей является Горбачев (хотя Линц и Степан сомневаются, действительно ли он стремился к демократии, а не к «либерализации»). И только по отношению к нему речь может идти об ошибках. Тут все ясно: человек стремился сохранить СССР и свою власть в условиях демократизации и не сохранил, следовательно, допустил ошибки. Зато об ошибках Ельцина, по-моему, говорить нельзя, ибо нет ни малейших оснований считать, что этот человек стремился к демократии и вообще к чему-либо, кроме власти, а власть он имеет, так что никаких особых ошибок не видно. Можно лишь теоретически рассуждать о каких-то иных решениях, которые мог бы принять совсем иной человек, который, будучи на месте Ельцина, сознательно стремился бы к построению демократического общества в России, а откуда бы такой взялся? Только с позиций такого, чисто гипотетического создателя демократии можно говорить об ошибках и неверных приоритетах.

Кроме того, все неверные приоритеты — приоритеты далеко не одно-

го Ельцина. Приоритет капитализма над демократией, невнимание к вопросам морали и правопорядка, нетерпимость к противникам — все это отнюдь не «ошибки» одного человека, оказавшегося в роли главы государства и его строителя, это «ошибки» всего колоссального российского «демократического» лагеря. Не Ельцин, а сотни журналистов, политологов, экономистов писали, что рынок решит все проблемы, что нам нужен Пиночет, что коммунистов нельзя пускать к власти никогда и любой ценой и т. д. «Ошибки» такого большого слоя — это уже нечто большее, чем ошибки, это массовая психология, идеология, культура. Но ведь и оппозиция у нас никак не лучше. Ни КПРФ, ни тем более жириновцы не обладают большим, чем у партии власти, правосознанием. Оппозиция и партия власти всегда — единое целое. Если есть тори — есть виги, если есть Валенса — есть Квасьневский, а если есть Ельцин и наши «демократы» — есть КПРФ и ЛДПР. Таким образом, мы приходим к выводу, что все эти «неверные приоритеты», о которых говорят Линц и Степан, — это «неверные приоритеты» народа.

Но в таком случае анализ обязательно должен перейти в плоскость народной психологии и культуры. У политиков, разумеется, есть определенная свобода, от их решений зависит многое. Но эта свобода не так уж велика. Политик — «сын своего народа». Совершенно очевидно, что культурный фактор объясняет различие судеб демократизации в разных странах в значительно большей степени, чем факторы чисто политические — различия в политической системе, предшествовавшей демократизации, в решениях политиков, в создаваемых ими в ходе демократизации институтах.

Возьмем только один пример. Если оценивать объем задач, которые надо решить в ходе демократизации, то задачи посттоталитарного общества, очевидно, окажутся во много раз сложнее задач авторитарного общества. Следовательно, переход к демократии Чехии, не имевшей ни гражданского общества, ни свободной экономики (даже в венгерских и польских масштабах), а вдобавок имевшей сложную проблему государственности (отношений со Словакией), должен был быть не намного легче российского и значительно сложнее бразильского или аргентинского. Но то, что Чехия перешла к «консолидированной» демократии значительно успешнее Бразилии и Аргентины, не говоря уже о России, сомнению не подлежит. И если мы не готовы признать, что Гавел и Клаус — это какие-то немислимые политические гении (а авторы книги, говоря об их ошибках, вроде бы их таковыми не считают), то следует согласиться, что задачи Чехии были в общем-то не такими уж и грандиозными, поскольку если есть культурная и психологическая готовность страны к правовому демократическому строю, то все задачи решаются, несмотря на отдельные ошибки; если же такой готовности нет, то «ошибки» совершаются на каждом шагу и всеми подряд. И наши «неверные приоритеты» — это не неверные приоритеты Горбачева и Ельцина или даже демократов и коммунистов (и всех политических сил, вместе взятых), а приоритеты страны, в которой на многовековой пласт культуры и психологии, сформировавшийся в православно-самодержавную эпоху, лег пласт марксистского материализма.

Нельзя сказать, что авторы не признают роли культурной детерминированности. Но на протяжении всей книги они тщательно стараются оставаться в рамках анализа институтов и решений политиков и избегают апелляции к особенностям культур изучаемых стран. И только в конце книги (см. стр. 453) становится ясно, почему они так делают. Авторам претит культурный детерминизм, как бы обрекающий какие-то общества на недемократизм, а демократических политиков этих обществ — на пессимизм и пассивность. Но мне думается, что можно вполне сочетать признание важнейшей роли культурного фактора не только с признанием возможности построения демократии в обществах самых разных культур, но даже с уверенностью, что она обязательно будет построена.

МЕТАФОРА-МОДЕЛЬ «делания», «строительства», часто используемая авторами, на мой взгляд, должна быть дополнена другой метафорой-моделью — роста, развития, стремления к «объективной цели». Авторы, естественно, сторонники демократии, но их позитивизм не позволяет им ввести понятие (или образ) демократии не просто как субъективной цели отдельных политиков и вообще разных хороших людей, а как объективной цели развития, что отдает не то марксистски-гегельянским «историцизмом», не то «концом истории». Но без этого понятия-образа получается другой образ — беспорядочного хаотического движения, когда демократии где-то создаются, а где-то разрушаются. Однако это не так даже с чисто эмпирической точки зрения.

Разумеется, нам не дано знать «смысл истории» и ее «конец». Но мы знаем, что в истории совершались и совершаются необратимые процессы, и совершаются они так, что, приведя к некоему результату сперва в одном или нескольких обществах, они затем превращают этот результат как бы в «объективную цель» всех обществ и, преодолевая сопротивление и трудности, распространяются по всему миру, побеждают во всемирном масштабе. Таких процессов множество: и в сфере технологии (начиная с открытия огня, которое, очевидно, первоначально было сделано в каких-то отдельных первобытных группах и потом болезненно и мучительно усваивалось другими группами, кончая созданием и распространением компьютера), и в сфере социальной организации (само государство, как принцип организации общества, возникло в ряде локальных обществ, а сейчас в государствах живут все), и в сфере духовной.

Я думаю, что распространение демократии по всему миру подчинено той же логике. Достаточно сравнить мир XVIII века, XIX, начала XX и конца XX века, чтобы увидеть, как из ряда локальных «очагов» (Англия, США, Нидерланды), преодолевая разное и по силе, и по характеру сопротивление различных культур, демократия распространялась на множество стран, иногда усваивавших ее ценой большой крови, «укреплялась» и «углублялась», охватывая женщин, людей разных религий и разных рас, «расширялась» на все новые сферы человеческой жизни, создав в конце XX века даже «протодемократические» всемирные и региональные системы. Предполагать ее конечную всемирную победу — очень естественно и вполне «научно».

И хотя когда-нибудь какой-нибудь «конец истории», конечно, наступит, победа демократии так же не означает этого конца, как его не означала, например, победа земледелия и скотоводства над охотой и собирательством, и как утверждение демократии на заре американской истории означало не конец этой истории, а ее начало.

Мне думается, что анализ конкретных современных переходов к демократии должен учитывать, во-первых, что это — частные локальные эпизоды всемирного движения, во-вторых, что это — отрезки на пути, который и во всемирном масштабе, и в каждой конкретной стране начался очень давно, а во многих странах — и кончится очень нескоро.

Часть возникших сейчас демократий вполне может исчезнуть, вновь уступив место каким-либо недемократическим режимам, как это бывало со многими демократиями в прошлом. Но если мы «заглянем» в это прошлое, то увидим, что «старые» демократии были менее развитыми и прочными, чем «новые». Современная «консолидированная» испанская демократия — это не та, уничтоженная Франко, Испанская республика, в политической жизни которой доминировали коммунисты (не теперешние, а вполне «тоталитарные»), анархисты, монархисты и фашисты. В течение всей франкистской эпохи шли процессы, подготавливавшие современную, очевидно, уже «окончательную» демократию, как они шли и задолго до этого, «сквозь» все испанские революции и реставрации. И современная российская «полудемократия» — это все же не та, продержавшаяся только несколько месяцев демократия 1917 года. Опять-таки движение к демократии шло «сквозь» весь тоталитарный период.

Демократия — это не «причуда» современной эпохи («сейчас так модно, такой Zeitgeist»), а норма современного мира. Одним легче достигнуть ее, другим — труднее. Но тем, кому не удалась первая попытка, удастся вторая, не удалась вторая — будет третья, и пока демократия не будет достигнута, общество «успокоиться» не сможет. А коль скоро это так, то следует сделать вполне определенный «практически-политический» вывод.

НЕ ВСЕ КОНКРЕТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ легко укладываются в типологии, и я не берусь дать название современному российскому строю, как не дают ему определения и авторы рецензируемой книги. То, что это не «консолидированная», употребляя выражение Линца и Степана, демократия, очевидно. Да и вообще назвать наш строй демократией трудно, как трудно и назвать нашу экономическую систему рыночной. Однако ясно, что это не просто временное переходное состояние, что этот строй относительно стабилен, что вырос он на русской почве — или органически вошел в нее.

Но если демократия — «объективная цель», то значит «успокоиться» на этом нам все равно не удастся. Нерешенные нами проблемы — это не прихоть, которую нам захотелось осуществить и которую забыли, когда не получилось. Это — проблемы, которые не решать мы не можем, и, более того — которые в конечном счете мы не можем не решить. Не знаю, как мы выйдем из нашего теперешнего положения, как можно, например, из нашего криминального рынка перейти в «нормальный» (признать все наворованное к настоящему моменту законной собственностью и обязать впредь не воровать? или национализировать все обратно и затем снова денационализировать?). Но тоталитарная эпоха казалась еще большим тупиком, выход из которого был совершенно не виден. Однако оказалось, что выход есть — и даже относительно простой. Так что и из нынешней ситуации выход найдется; в конечном счете мы сделаем все, что не смогли сделать.

Переход власти от нынешней «партии власти» к какой-то оппозиции, нормальное принятие нормальной конституции, формирование устойчивой системы демократических организаций, создание эффективного госаппарата — все это нам еще предстоит.
